

ВИКТОРИЯ СИНЮК



НОТА

РАССКАЗ

I

В Третьяковке он долго стоял у васьильевской “Оттепели” — светился тихим восторгом и, улыбаясь, внимательно изучал каждый сантиметр полотна, каждый мазок гениальной кисти. Елена почувствовала интимность, установившуюся между ним и картиной, и, чтобы не мешать этой долгожданной для него встрече, отправилась бродить по соседним залам. По правде сказать, она немного завидовала ему: в последнее время, с тех пор, как она ощутила и признала в себе эту тягостную привязанность, в одночасье сделавшую её одинокой, всё вокруг будто потускнело, приглушилось, перестало поглощать и завораживать. А говорят ведь: полюбишь — и мир заиграет новыми красками, зазвучит новыми нотами, распахнётся космос, и звёзды бабочками посыплются с небес. Куда уж! А ведь раньше так и было: и распахивалось всё как-то по-весеннему, и звучало на иные лады, и такая же оттепель, как на этой картине, дарила предчувствие роскошного сиреневого мая. Теперь иначе. Теперь всё в душе, как на этом холсте: та же неизбывность одиночества, тот же заброшенный север и тяжкое небо над ним. Вот он, человек, рядом — можешь дотронуться, прошептать какую-нибудь ласковую глупость, — и всё равно неизбывность, безлюдная, ветреная степь внутри.

Когда она вернулась, Алексей стоял на том же месте, скрестив руки на груди. Его лицо побледнело, искажилось — это, верно, васьильевские краски бросили на него свой смурной, тяжёлый отсвет. Она встала рядом и взяла

СИНЮК Виктория Александровна родилась в г. Минске в 1988 году. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Печаталась в журналах “Новая Немига литературная” (Минск), “Брега Тавриды” (Симферополь). Живёт в Минске.

его под руку. Он даже не шевельнулся — опять горчинка, опять колкий звоночек отчуждения. Пару минут молчали.

— Слышишь её, эту нотку, да? Она ведь судьбой оплачена... Двадцать три года парень прожил... — Алексей помолчал. — Всё, дальше не пойду. Домой.

— А Суриков?

— Завтра. Теперь домой.

Елена отвернулась — слёзы подкатили к глазам. Снова рассуждения о “ноте” — тёмные, разящие каким-то неблагоприятием и неустроенностью, которые его несколько не пугали, а, скорее, завораживали, как что-то заветное, как... верный узор судьбы, что ли. Снова парадокс: ведь на эти его рассуждения она и попала, на эту неприкаянность и повелась. Думала: отогреет, отжалует (никогда раньше не хотела ни греть, ни жалеть — “сильные” нравились, такие, которым жалость — всё равно, что насмешка). Всё же душа, как за ней ни приглядывай, вечно в какой-то шальной самоволке, думалось ей теперь. То, что казалось стержнем, опорой, сейчас бесхребетно изгибается, колышется в разные стороны. Всё смялось, скомкалось, кроме напряжённого желания быть любимой этим человеком и нужной ему больше всех осточертевших “нот”.

II

Домой — значило в гостиницу. Кажется, в десятую за это лето. Почти три месяца они странствовали по России, в основном, по маленьким городам с древними церквушками и монастырями, с двухэтажными деревянными домишками на центральных улицах, с бездорожным раздольем вокруг. Москва была последним пунктом их долгого, измотавшего обоих путешествия, за время которого они сроднились, срослись, пусть и по-разному. Его корешки цеплялись за неё и за что-то ещё другое, важное и сокровенное, а её корешки — за него. Поначалу ей казалось, что она вполне понимает это его “важное” и что они единомышленники и друзья, но он как-то исподволь отстранял её от этого, будто бы лелеял в себе какую-то избранность и оберегал своё одиночество. И вот она отстранилась — из “своего паренька” превратилась в женщину, впервые в жизни почувяла тёплую тоску по гнездовью, по дому, который замаячил вдруг за всеми эти переездами, дорогами, поездками, древними стенами — за всей этой ошеломительной Россией, которой ему было мало и мало — “ещё один городок, ещё деревушка, ещё степь, и тогда — дом”. “Дом надо выстрадать, иначе в нём черти заведутся...” — говорил он. А ещё надо было “оплатить судьбой” эту “ноту”, которая ему — уже именитому в свои тридцать четыре витебскому художнику — никак не давалась. Не давалось пронзительное пограничье, переходность, сумеречность — всего на его полотнах было с лихвой: солнце — слепило ярким светом, а ночь — густой, непроглядной тьмой, гроза — бушевала неистово, и не было в ней предчувствия долгого, сухого покоя. Он смешивал краски, бился над нюансами — выходила нескладная мозаика настроений, которую, однако, хорошо покупали “любители”. За ней, этой своей “пронзительной нотой”, он и охотился, её подслушивал, её выспрашивал и высматривал всюду.

В одно время — они тогда гостили у её родни в Ленинградской области — ей показалось, что всё в нём прояснилось, всё встало на свои места. Так впечатлила его эта дружная, тёплая, радушная семейственность, бесконечные шумные ужины после бани, перекуры у поленницы с беседами на хозяйственные темы, работа в огороде — за неё он брался с детским восторгом, с ним же рубил дрова, кормил тётушкиных коз и гонял на велосипеде с её, Лениными, подростками племянниками... Не вспоминал тогда свою “ноту”, не хватался за карандаш, будто его отбирали какие-то неведомые силы. Был горячим и страстным, примерял роль супруга, говорил: “Мы с Леной”, “А у нас с Леной”, “Вот когда мы с Леной...” Она засветилась. Вот когда небо распахнулось в космос, и звёзды полетели бабочками — когда домом повеяло. Свежим детским бельём, бессонными ночами у кровати,

усталостью от дорогих забот. Вот закон женской души — и скажи-ка попробуй, что он не вселенский.

Планировали тогда, по ночам в дедушкиной светёлке, что со временем, после окончания консерватории, Елена переберётся из Минска к нему, в Витебск, и начнётся новое, волнующее повседневье. Она устроится учителем в музыкальную школу, по вечерам станет играть ему Глинку и Рахманинова, будут вместе читать Толстого и обсуждать всё-всё-всё на свете. А летом снова поедут к тем самым родственникам — уже семьёй, а не пыльными, странствующими бобылями. А потом они уехали из деревни, и дорога опять скрутила отрадную ясность в какой-то странный узел...

III

На следующий день они никуда не пошли, не вернулись в Лаврушинский смотреть Сурикова и Ге — Алексея весь день лихорадило. Впервые за всё время их путешествия он занемог. “Надышался этой промозглой оттепелью...” — посмеивался он сквозь кашель. И ей захотелось вдруг, чтобы он разболелся вовсю, чтобы пришлось обменять билеты и остаться здесь, в городе огромного неба, ещё на несколько дней. Она два раза бегала в аптеку — какая-то воодушевлённая и стыдившаяся этой воодушевлённости, поила его бульоном и микстурой, укутывала в тонкий гостиничный плед и целовала, не боясь подхватить нездоровье.

К утру ему стало лучше, и после завтрака они пошли по магазинам: надо было купить чего-нибудь в дорогу. Взяли ветчины, сыра, булочек к чаю, вина. Всю дорогу он держал её за руку, в магазине с хозяйской разборчивостью выбирал продукты. И снова повеяло обманчивыми надеждами, и она, вопреки опыту, гнала из души все тёмные тени, оставляя в ней свет и теплоту ожиданий. Пусть не сбудутся, пусть покружат журавлями и сгинут — не торопись опускать голову, говорила она себе и представляла журавлей, и полоску закатного света над сонным полем.

Вечером сели в поезд и почти до полуночи, пока на одном полустаночке не подселились другие, ехали в купе вдвоем. Пили вино, и Алексей снова смотрел на неё с какой-то пепельной теплотой, готовой то ли вспыхнуть, то ли развеяться без остатка. Только на рассвете, проснувшись от храпа, доносившегося с соседней полки, Елена вдруг почувствовала, что ей вполне понятен этот тёплый пепелок...

В окно вагона бодрящим дымком струился робкий, ранний свет родины. Августовские зори, уже выстывавшие, расцветали теперь позже и позже — это осень взялась исподволь воровать мгновения летнего дня. Розоватые туманы, облачно висевшие над высоким разнотравьем, тихо истаявали, и отовсюду слышались первые звоны утра, скоро набиравшие силу и готовые вот-вот сорваться, слиться в плотный шум летнего дня; этот шум утихнет к ночи, и только тогда вдруг поймёшь, что он был и всегда будет на свете...

Вдруг с весёлым паровозным грохотом поехали по большому мосту над неизвестной рекой, и Елена вспомнила...

IV

...Как-то в деревне, в самый разгар своей короткой идиллии, они с Алексеем отправились осматривать окрестности. Прошли огородами, перебрались через огражек и орешниковые заросли, и началась песчаная дорога, бегущая бесконечной жёлтой волной между полей и берёзовых рощиц. По ней и пошли, зная, что где-то там начнётся старинная деревушка, которая, как говорили, почти превратилась в обыкновенный дачный посёлок. Этим ветром, свистящим в зазоре между эпохами, им и хотелось надышаться. На таком ветру, говорил Алексей, чувствуешь себя существующим в истории и в вечности одновременно. И Елена, проникшись этим красивым, как ей казалось, противоречием, тоже училась чувствовать такой ветер...

Не доходя до деревушки (так и не дошли они до неё в тот вечер), неожиданно выбрали к реке, не слишком широкой — такой, что вплавь пере-

берёшься спокойно и не устанешь особо. Вода бурая, непроглядная, быстрая, и топкое глиняное дно здесь, верно, с внезапным обрывом... На другом берегу — густой лес, в который солнце не заглядывает, только редкие лучи пуляются в еловых ветках бледно-золотой паутинковой сеточкой. Но больше всего здесь впечатляло вот что: с одного берега на другой был протянут тонкий канатный мост — видно, ходят в эту чащобу за грибами и лесной живностью дачники. Елена и Алексей сели на безлюдном берегу, достали бутерброды с салом, свежие огурцы и тётушкин морс из прошлогодней клюквы — всё это вприкуску с речным воздухом показалось невиданным пиршеством с ароматом свободы и раздольного лета. После перекуса Елена, сама себе удивившись, отправилась “пробовать” мост — так озорно и призывно красовался он между высокими берегами безымянной реки. Вначале она, крепко взявшись за тонкие перильца, поставила на канат одну ногу — и мост тревожно закачался. Елена вскрикнула и засмеялась.

— Лёшка, ну что же ты? Пойдём на тот берег! Я уже почти не боюсь. Смотри! — она сделала несколько крохотных шагов по канату и, обернувшись к нему, снова рассмеялась.

Алексей дожеввал бутерброд, сложил оставшийся после пиршества сор в пакет, бросил его в рюкзак и пошёл к мосту.

— Иду, иду. Замечательный мост. Просто чудо мостостроения. Первый раз такое вижу вживую.

— Я тоже! Не мост, а аттракцион какой-то. Иди, не бойся! Только вниз не смотри и держись хорошо.

— Так точно, команданте.

Он осторожно сделал первые шаги по мосту, и Елена, желая продемонстрировать ему всю проснувшуюся в ней удаль, лихо пошла по канату, напевая какую-то весёлую песню.

— Идёшь? — крикнула она, не поворачиваясь, и услышала свой голос в лесу. Лес был всё ближе и ближе: ещё метров двадцать — и вот уже берег, который встретит тёмными дебрями; а дебри казались живыми и мрачно глядящими на тех, кто отваживается к ним подобраться. У-ух! Елена то и дело бросала беглые взгляды вниз, на бурюю воду, и от колючего страха ей хотелось смеяться и петь ещё громче.

— Иду! — отозвался Алексей.

— Здорово, правда?

— Ага. Нервы щекочет отменно.

Через несколько минут она, радостная оттого, что преодолела свою давнюю боязнь высоты и не поддалась опасному гипнозу воды, сделала последний шаг по мосту и, ступив на землю, обернулась, ожидая увидеть Алексея идущим вслед за ней...

Но Алексей сидел на том берегу, склонив голову, а над ним вился густой сигаретный дымок. Елена опешила. Дебри за спиной задышали насмешливым ветерком, и глухие звуки тёмного леса отдались в сердце неприятным эхом. Она села на траву, чувствуя, что вот-вот заплачет, но на глаза попались ягоды спелой крупной земляники. Елена собрала их в ладонку и разом опрокинула в рот. Совсем неожиданно досада развеялась, и ей вдруг стало хорошо оттого, что она здесь одна, а он один там, на другой стороне реки, и между ними — тёмная вода и непрочная металлическая веревка... Уединение — вот чего ей, оказывается, не доставало. Подумалось: и правда, отчего это она, вольнолюбивая и порывистая, так приросла к этому, в сущности, чужому человеку с непроходимым буреломом в голове?

— Эй, Лёха! — весело прокричала она ему.

Он поднял голову.

— Пошёл ты к чёрту! Слышишь? К чёрту! — и лесное эхо так же весело повторило её слова. Она рассмеялась свободно и легко. Алексей махнул рукой, — видимо, он не расслышал, — и снова опустил голову. Елена догадалась: он рисует. И тут свобода в душе пошла на убыль. Она сидит здесь, на жутком берегу, идти по этому мосту, который повесили сумасшедшие русские, опасно, а ему — никакого дела. Поискав ещё земляники и полакомившись напоследок, Елена отправилась в обратный путь. Ругаться с Алексеем

она не собиралась, а вот разорвать дурацкий набросок, на который он её променял, ей очень хотелось...

Сейчас этот карандашный эскиз, изображавший её, тоненькую, идущую над рекой по шаткому канату в направлении таинственного леса, лежал в чемодане, в альбоме с репродукциями Фёдора Васильева, купленном ими в Третьяковке. Елена была рада, что тогда, кое-как вернувшись с другого берега, не поддалась гневу и не учинила расправу над рисунком. А на нём действительно была она — со всей своей незащитной удалью и одиночеством, со счастливым ветром в волосах, быстротечной рекой под ногами и густыми сумерками впереди... Алексей пообещал, что этот набросок станет картиной, и она снова почувствовала, что всё в ней принадлежит ему. Она и сейчас, в поезде, давно прошедшем добротный мост через большую реку, чувствовала то же самое, и это чувство казалось неисчерпаемым, тёмным и единственным. Так ощущается судьба, думалось ей.

V

А тем временем в купе стало совсем светло. Алексей, взлохмаченный и хмурый, сидел за столом и что-то сосредоточенно черкал в своём блокноте. Какие-то синусоиды, врезающиеся в края бумаги. Елена спустилась с верхней полки, причесалась, села рядом и, не боясь разбудить соседей, сказала твёрдо, без той затаенной робости, с которой обращалась к нему в последнее время:

— Я поняла, где ты собираешься раздобыть свою ноту.

Он не поднимал головы, продолжал чёркать, перешёл на новый лист и снова стал тянуть свои карандашные линии, похожие на волны, какими их рисуют дети.

— В нашей разлуке. В том, что мы больше никогда не увидимся. В том, что ничего не будет, кроме дорог, гостиниц с заляпанными пледами, холодной мастерской и друзей, заходящих с коньяком по пятницам... Лёша, посмотри на меня! — наконец, он поднял голову, взглянул тяжело, как глядел после ссор и бессонниц, и эта тяжесть показалась ей такой родной, что внутри все зануло. — Почему этой нотой не может быть счастье? Чёрт возьми, почему?

Пока она, долго плакавшая после этих слов, приводила себя в порядок, он, ухмыляясь так, как всегда ухмылялся её глупостям, собирал их вещи — полотенца, зубные щётки, салфетки — и бережно складывал косметику в её косметичку.

Вскоре замелькали знакомые переезды, маленькие станции, окраинные кварталы и трубы, дышавшие в светлое небо тяжёлым заводским дымом, и уже через час они, держась за руки и глядя в разные стороны, ехали в такси по минским улицам, глянцевым от ночного дождя и света прохладного августовского солнца.